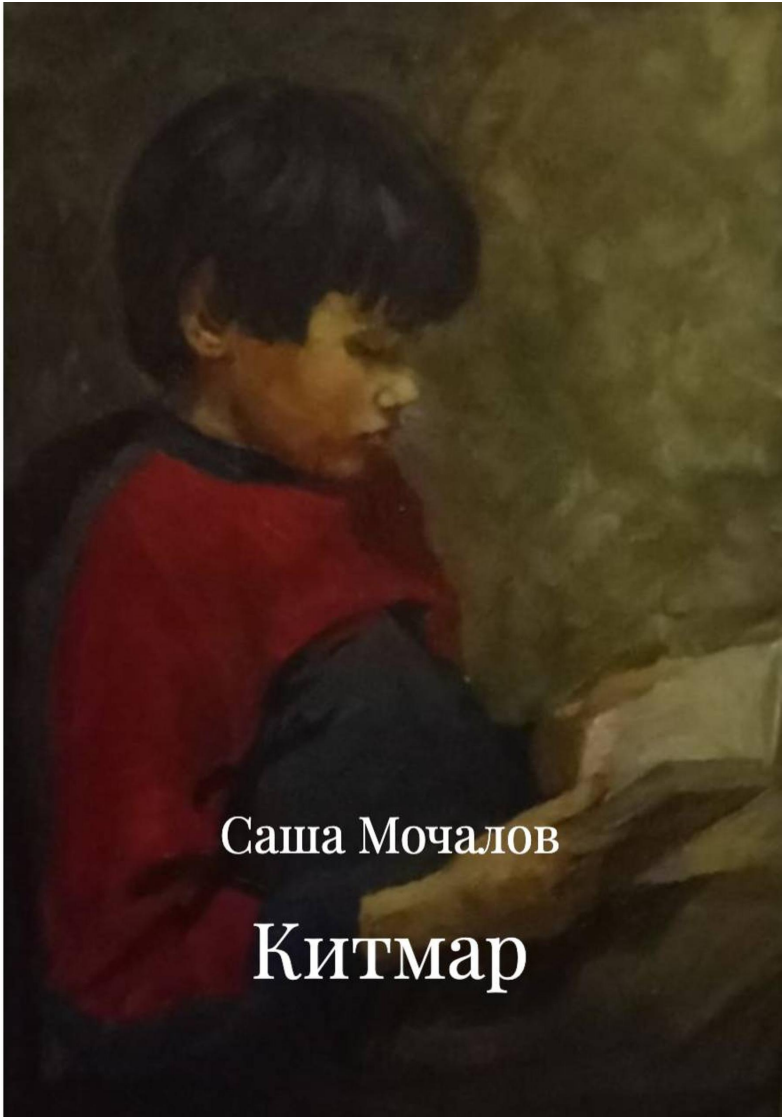

Саша Мочалов
Китмар

Саша Мочалов
Китмар

https://litres.ru/74690258
SelfPub; 2026

Аннотация

Воспоминания о воспоминаниях, записанные со слов, срисованные со старых фотографий и писем, сшитые из лоскутов в произвольном порядке. То, что просилось быть записанным. Хотя автор — не писатель. Он музыкант. Ну вот, это такая импровизация по пролётам лестницы, куда выходят многочисленные двери и где гулко.

Содержание

Часть первая. На реке Китмар. 5
Предисловие 5
Прапрадедушка Алексей 13
Дед Каширин. «Надо ли не надо ли». 18
О семье Магницких. Летающий лук. Сельская мистика. 24
Благостная 30
Очапновский Летун 42
«Давай Чарли!» - рыбы, мухи, пчёлы и собака. 48
Чубыркины 54
В Татинец! 58
«Шик-Блеск...!» - композитор Касьянов и другие 69
Конец ознакомительного фрагмента. 72

Китмар

Китмар

Часть первая. На реке Китмар.

Предисловие

Повествования не будет. Ничего неожиданного тоже. Просто воспоминания, которые пишущий, почему-то, не мог не записать.

После очередного концерта и последующих посиделок в родном Нижнем Новгороде, где стал бывать наездами, сидел в послеремонтном развале своей бывшей детской комнаты, пил пиво и жёг электричество обогревателем. Сетуя, что под рукой нет книги, которую читаю, стал искать занятие и нашёл его в ящике с прабабушкиными бумагами. Чем не чтение? Несколько поколений великолепнейших образцов эпистолярного жанра. Все о нас, о наших, тех, кто тут был. Письма дореволюционные, письма с первой и второй войны, записки прабабушки о маленьком папе... И письма и фотографии тех, кто писал эти письма, и тех, кого уже никто не вспомнит, фотографии с подписями за 1870-е годы и позже….

Был Старый Новый Год, 14-е января 2017-го. В руке оказывается сложенная вчетверо бумажка. Строгое, военных лет, свидетельство о том, что 14-го января 1942-го года, в се-

ле Татинец от сердечной недостаточности скончался Алексей Александрович Магницкий в возрасте 78-ми лет. Дедушка моего дедушки, отец Алексей, священник. Про которого так хорошо рассказывал мне дедушка Андрей. Фотографии которого я знаю с детства. Папа моей прабабушки Фаи, той, что так сказочно пела мне когда-то о том, как таинственная буря небо мглою кроет, а ещё про веретено и девицу, идущую за водой… Я слушал эти слова и не знал значения большинства из них, но запоминал образы за ними. Так, через бабулю Фаю, Пушкиным в меня проникал Язык…

И вот, тоже 14-е января. Дедушка Алексей жил в Лысково, жил в Татинце, жил в Очапном... Все возвращалось к Очапному. Дедушка Андрей начинал писать про Очапное книгу, но не продолжил. Он был не писатель, а художник. Я вот тоже не писатель, я играю музыку. Но попробую пересказать дедушкино и, поймав то, что он хотел изобразить, дополнить своим.

Не для читателя. Откуда ему взяться в наше странное время, да ещё у рассказов про чьих-то родственников и какую-то местность, когда у каждого немало своих мест и лиц. Но и не для себя. Для самого процесса, для Очапновского воздуха, для бабушкиного сундука, из интереса.

Стану писать Очапное с буквы «О», как в дореволюционных картах, а не по сегодняшнему, с «А».

Давайте немного окать.

Очапное

Воспоминание самое свежее и искрящееся: лето, одно из первых. Меня привезли в деревню. Звонкое солнце… Помню, как моложавый дедушка Андрей поставил на ручную тележку бочку, а в боку поставил меня, так что полголовы высовывалось, приходилось вставать на цыпочки, чтобы что-то видеть. И дедушка повёз меня по Очапному и стал знакомить – меня с Очапным и Очапное со мной. Помню свет, траву, смех, дядю Федю с половиной пальца, дядю Феёшу, старух… С тех пор научился говорить: «Слава Богу», «Не все ли равно», узнал, что автобус бывает «лысковский» — улыбающийся и «кстовский» — строгий. Разницы другой не видел, хотя и ощущал. Дедушку я почему-то звал «тятей». Этому меня никто не учил, но дедушке нравилось.

— «Все это — Очапное» — говорил лучащийся дедушка, и мне отчего-то радостно становилось: «Очапное — это село. А это — очапновцы. Или чапенские… Соседи и родня»…

Дед всех их знал с детства, а многие из них помнили его маленьким. Много лет назад прабабушка Фаина Алексеевна, учительница, переехала из Очапного в соседнюю деревню Ташлыково и там работала в школе. С ней и муж — Геннадий Мочалов. Хотя о нём сведения противоречивые. Известно, что он воевал и получил ранение в ногу. Был в колхозе начальником. Судя по письмам бабушкиной сестры и воспоминаниям стариков — погуливал. Сыновья Андрей и Николай (старший, Витя, умер в детстве от столбняка) жили тогда в Горьком. Когда родился Гена (мой папа), она пере-

бралась к детям в город, чтобы сидеть с внуком. Летом ездили отдыхать в Татинец, к прабабушкиной сестре и её мужу — тёте Лиде и дяде Феде Ротановым. Но вспоминали Очапное. И только когда на свет появился я, дедушка Андрей с бабулей Желей приобрели там дом. Хотели привезти бабусю Фаю, но та не дожила, скончавшись в 89-м году жизни, когда мне было около четырёх. А дедушка, таким образом, вернулся туда, где родился, и стал заново строиться — уже дачно. Стоит ли говорить, что все и всё там ему улыбалось. А через это — и мне.

— «Очапное!» — повторял я про себя и вслух с неизъяснимым восторгом.

Помню, тогда я находился в редком, несвойственном себе, каком-то экстатическом оживлении, смотрел на все очень внимательно и ощущал необычайно остро.

С тех пор к наступлению лета я всегда с нетерпением ждал поездки в деревню и изводил этим старших. А когда по приезду я выходил из автобуса на грунтовую дорожку в Очапное, у меня от счастья подкашивались ноги, и я шёл на полусогнутых.

Тогда бывало лето. Не календарное, а просто. Это когда по нескольку дней подряд может светить солнце, но при этом нет облаков и потому не душно. И не было нескончаемого ветра в июне, а снег летом был в диковинку. А тёплые дни не были убийственно жестокими духотой, а были просто знойными. И клещей не было. Домики ещё не облицовыва-

ли пластмассой, и можно было писать с них этюды. Кричали петухи, за водой ходили на ключ, с вёдрами. Автомобилей было мало, зато по Волге ходили ракеты и метеоры, а по большей дороге — автобусы, которые возили в город и из города. И дороги, ведущие в соседние деревни через перелески, ещё не все заросли, и кто-то ходил по ним. В общем — бывало лето.

Было несколько фамилий в селе, домов два порядка, Никольская церковь с полукруглой крышей и шпилем на колокольне. Нижнюю часть села называли «Астрахань», верхнюю — «Тверь». Как Волга течёт. Большая дорога рядом — Казанский тракт. До Волги напрямик — километра три-четыре пешком (если ехать — то чуть дальше, по дороге в объезд леса). Там, на крутом берегу — красивейшее село Татинец.

Когда-то Очапное принадлежало помещикам Ланским. Потом их родственникам Астафьевым. Соседние села — Малое и Большое Лебедево — Веселовским и Касьяновым. Места эти находятся на дороге в Болдино, и все эти семьи были дальними соседями Пушкиным. И в некотором смысле родней, после того как Наталья Гончарова (Пушкина) вышла вторым браком за одного из Ланских. Сергей Касьянов, эмигрировавший после революции в Бельгию, вспоминал, что слышал от местных о проживавшем и нашумевшем когда-то здесь некоем Льве Львовиче Пушкине, которого в шутку на-

зывали Тигр Тигрович… Близлежащие деревни — Лебедево, Чернышиха, Ташлыково, исчезнувшее Косково — собственных приходов не имели, церковь была в Очапном, куда и ходили на службы. Само название села — Очапное — происходило, видимо, от слова «очеп». Очеп — это устройство, приводящее в действие «очепной» колокол. Возможно, такой колокол когда-то висел здесь. Или очепы тут делали. А может быть, потому что село формой своего расположения напоминает очеп. По крайней мере, так считал мой дед. А по другой версии, такое название произошло оттого, что портные, которыми славилось Очапное, шили тут чапаны.

Прапрадедушка Алексей Магницкий служил священником в Очапном. В церкви, по развалинам которой мы, спустя почти что век, бродили детьми. К тому времени уже ни крыши, да и ничего, кроме красивого остова, от неё не осталось. Ходили туда и с дедушкой Андреем. Он трепетно про неё рассказывал. Например, как в годы войны, когда сам дедушка воевал в Красной Армии, из церкви сделали тюрьму для военнопленных. Сначала для немцев, с которыми обходились относительно мягко, а потом для наших, тех, что побывали в германском плену и после оказались в советских тюрьмах (ибо у нас пленных нет, но есть предатели). Там их держали за церковной оградой, там же расстреливали. Или, чтобы не тратить патронов, отправляли на колокольню — в мороз, когда дул ледяной ветер. Через некоторое время

несчастный замерзал. Дядя Коля, родной брат дедушки, рассказывал, как жутко эти обречённые кричали с колокольни. Ещё он рассказывал, что начальником охраны был назначен некто, ничтожного роста и с наганом; по фамилии то ли Стрижов, то ли Моржов… Подростки в деревне его ненавидели и однажды устроили ему «тёмную» — нешуточно поколотив и даже частично изувечив. Родители ждали, что их накажут. Но того начальничка вскоре куда-то перевели. А после, говорят, обвинив в превышении полномочий, то ли посадили, то ли… А тогда дядя Коля со сверстниками кидали узникам через церковную ограду всякие продукты, нарушая категорический запрет и несмотря на то, что сами жили впроголодь в то военное время. В 1970-е в церкви случился пожар, сгорела крыша и все перекрытия. А потом мы, дети Перестройки, находили в лопухах руин следы истории — то гильзы от патронов, то череп, побитый пулей, то бедный остов от большого креста, деревянный каркас которого давно сгнил, и крест этот никак нельзя было поставить вертикально — он всё время падал, как странный сказочный человек без костей.

И всё же — как прекрасно густым летним вечером сидеть на кирпичной кладке, забравшись на оконный проём церкви, петь девицам под гитару глупые песни, ошеломляясь звёздным нагромождением и духом торжествующей сирени… Или туманным, похмельно-свежим утром находить романтическое приключение с балериной N в осыпающих-

ся, с дырками от автоматных очередей, кирпичах. А потом допивать там светлое вино из бутылки, неверно декламируя стихи, и рассказывать истории этих мест.

И здесь нет «осквернения памяти». Но есть ощущение вечной весны и единства всего между всем.

Прапрадедушка Алексей

Был прапрадедушка Алексей Александрович Магницкий (1868-1941). Смотрит с фотографий. Худощав, осанист, тонкорук, как артист или философ. О нём известно, что он хорошо играл на гитаре и пел, судя по всему, был весьма начитан и эрудирован. Потомственный священник — он взял в жёны внучку священника – Алевтину Павловну (Михайлову), чей отец, Павел Михайлов, по некоторым сведениям — дворянин старинного рода, но в советское время об этом старались не вспоминать. Мама прапрабабушки Алевтины, Мария, в девичестве Стернова, была дочерью священника Василия Стернова. Недавно я нашёл его в старых церковных списках. В пятидесятые годы девятнадцатого столетия такой священник служил в Макарьевском уезде, к которому относились тогда Лысково и ближайшие сёла, в числе которых и Очапное.

Алексей Александрович уже и при советской власти продолжал ходить в застиранной серой рясе, и его чудом не арестовали. Может быть, потому что пятеро его сыновей служили в Гражданскую в Красной Армии, попав туда прямиком из армии царской — с 1-й империалистической на Гражданскую. Может быть, просто любили и не доносили. Доносительства в Очапном было мало.

Вот пример: после второй большой войны в одной избе жили трое дезертиров. Муж хозяйки и два родственника. Жили в подвале, много лет, по ночам даже выходили гулять, и их видели. Видели, как хозяйка покупала махорку. Сама она не курила. Но никто не донёс — её жалели. И они дожили до амнистии.

Один из его сыновей, Николай, был в германском плену, оттуда присылал письма и открытки с собственным изображением. На одной из них – его фотография в военной форме. Из этих писем, написанных каллиграфическим почерком, видно, что жилось в тогдашнем германском плену офицерам не уж так скверно — письма шли. В послереволюционное время дедушка Алексей, не снимая рясы, даже преподавал в сельской школе странный предмет под названием «Азбука Коммунизма». Он осторожно иронизировал по этому поводу. Впрочем, в политику не вовлекался. Только в начале первой войны мой дед услышал от него фразу: «Если бы не эта власть, такого стыда бы не было».

«Старое небо» — так называл он синюю прореху в тучах или облаках, которая иной раз появляется во время долгой пасмурной погоды. Мой дедушка цитировал это: «Смотрите, старое небо виднеется!». Мне всегда казалось, что это своеобразная метафора, как «старорежимное небо», вроде старого Нового года, как некая оттепель или возвращение к есте-

ству.

Кстати, говорят, сама фамилия «Магницкий» выдумана в начале восемнадцатого столетия царём Петром Алексеевичем и жалована Леонтию Телешову, знаменитому математику, автору первого в России учебника по этому делу. Монаршей милостью Телешов стал Магницким. Некоторые из его задачек и я проходил в школе. Внук его, Михаил Магницкий, был видным государственным деятелем эпохи Александра Первого, наряду со Сперанским. Ему покровительствовал Аракчеев. Со временем он превратился из просветителя в неистового борца с обскурантизмом. Переусердствовал, был лишён имений. Николаем Первым отстранён от службы и сослан, а его потомки ушли в «белое» духовенство.

Магницкие жили в добротном двухэтажном доме, куда летом стекались отовсюду многочисленные родственники и друзья. На старом фото возле того дома, кроме самого Алексея, многочисленных детей и членов семьи, расположилось человек тридцать.

Потом нагрянули какие-то «представители» и буквально распилили дом. Оторвали верхний этаж и отправили по Волге в Нижний Новгород. И стал этаж частью другого дома на теперешней улице Невзоровых. Дед с этого симпатичного гибрида даже этюд написал. А тогда, в Очапном, семья свои-

ми силами привела в порядок оставшийся нижний этаж, построила крышу и стала жить дальше. Там и коров угоняли в колхоз, и прочее... Хорошо ещё, что дедушки моего папа был в колхозе начальником.

Алексей Магницкий умер во время войны, своей смертью. Папе деда — Геннадию, дали отсрочку от призыва на похороны. Похоронен Алексей около церкви в Татинце, где тоже служил. Могила заросла и затерялась. А церковь пострадала меньше очапновской, её восстановили, она блестит.

Вот зачем всё это записывать? Возможно, инстинкт экзистенциального самосохранения, азарт запечатлеть чужие ускользающие воспоминания. Попытка хоть как-то сохранить портреты? Или лучше — разбор сегодняшнего. Освоение условных величин с надеждой одухотворить бессмыслицу образами. А как ещё одушевить происходящее?

За окном Ока ныряет в Волгу, дальше меж ними постепенно размывающаяся полоса. Одна река поголубее, другая покоричневее. Апрель птахами расчирикался.

Прогулялся у дома. По своей воле! Значит, погода улучшается. Можно сетовать на отсутствие отвращения. Даже мусор лежит лирически.

Встречаются привычные незнакомцы. Переглядываемся:

«существуете? Славно! Погода вот».

Транспортные средства не смотрятся. Спасает разве что грязь, немного вписывающая их в вид. Уметь бы стирать их из видимости. Ещё как-нибудь гасить лишние звуки.

Измученная открыточность вида временно стерлась. Одиноко толплюсь я на просторе.

С деревьями на набережной было лучше: выйдешь, затеряешься в дорожках. Деревьев не хватает. Поодиночке танцуют два знакомых оставшихся с точёными сучьями…

Грязь спасает.

Куда-то тёрку сунул, не могу найти.

Дед Каширин. «Надо ли не надо ли».

Был дедушка Яков (1852-1934), который приходился дедушке Андрею прадедушкой и про которого дедушка Андрей любил рассказывать. Фамилия ему была Каширин-Мочалов. Родня тем самым горьковским Кашириным.

Отец дедушки Якова, Мочалов из Чернышихи (деревня в 3-х верстах вверх по реке Китмар), женился на очапновской Кашириной. Поскольку так случилось, что он «вошёл в дом к невесте», а не наоборот, он присоединил к своей фамилию жены. Стал с двойной фамилией. А потом его сын фамилию «Каширин» вовсе отбросил и стал подписываться Мочаловым. В Очапном в ту пору помещиком был граф Астафьев. Дедушка Яков какое-то время был у него распорядителем, камердинером. Предшественницей Астафьева была графиня Ланская. Об Астафьеве могу сказать, что у него была прекрасная библиотека, впоследствии частично спасённая дедушкой Яковым от уничтожения. Ещё этот помещик разводил сирень. И до сих пор не видел нигде такого разнообразия сирени, как в Очапном. В пору цвета запах её слышен далеко, а холм возле кладбища издали пестрит всеми её красками. И каждая особенно пахнет.

И сколько всего происходило в бесконечных сиреневых зарослях. Сколько там осталось воспоминаний, чьих хозяев давно нет. Но иногда такие воспоминания подлиннее зыбкой действительности. Особенно воспоминания бесхозные, которые некому вспомнить. Получившие свободу. Вот их присутствие и напоминает о себе летними вечерами, толкая на самые неожиданные мысли и поступки, про которые говорят, что они совершены «по наитию».

Барская аллея — на месте её теперь несколько участков с садами и огородами, в том числе и наш — спускалась от усадьбы, почти доходя до озера. От господ остались цветущие в июне («к моему Дню Рождения!» — говорила бабуля Желя) лилии. Они небольшие, одичавшие. Растут по всему пространству бывшего поместья, и дачники борются с ними, как с сорняками. А мне эти цветы нравятся. Под аллеей располагался родник, где брали питьевую воду, называемый «Барский ключ». Он и сейчас так зовётся, но воду из него беру, похоже, только я, когда изредка удаётся приехать в Очапное. У остальных давно «скважины». Дед рассказывал, что у помещика Астафьева была богатая библиотека. Её разорили. Но несколько книг у нас сохранилось, на них даже есть штамп Астафьевых. Есть Гоголь, А.К. Толстой, что-то по астрономии и т.д. Наверное, брали почитать — а вернуть уже было некому.

Барская усадьба давно разорена. В моё детство на её месте стоял весёлый зелёный домик. Первый, который был виден взгляду на пути в Очапное. В этом жил ехидный дядя Лева Масляков. Помню веранду с креслами и белый «жигуль», на котором мы ездили с ним за грибами в «Лисья». («Лисья» или «Лисьи» — так называется лес между Очапным и Чернышихой. Сверху «Лисьи» заканчиваются Большой Дорогой, а внизу выходят к долине речки Китмар. Чудный склон, где ели поодиночке сходят из перелеска к речке, назывался «Жерновки», и рядом была таинственная мельница.) А теперь и этот домик разрушен, участок огорожен жёлтым металлическим забором, и за забором виднеется строение из бетонных плит, возведённое на фундаменте старого помещичьего дома. Там живут новые люди, приехавшие издалека. Они — хорошие соседи.

Дедушка Яков смотрелся внушительно. С фотопортрета глядит грозно. Мой папа, однажды увидев его фотопортрет в моей комнате, обознался и в шутку спросил: «А это ещё что за Дед Каширин?» — «Дед Каширин, — отвечаю, — Каширин-Мочалов».

Дедушка Яков сжёг женщину. Поджигательницу. Тогда в Очапном и окрестных деревнях случилась целая серия пожаров. Горели дом за домом, двор за двором. Оставались без крова семьи. Искали поджигателя. Им оказалась кликуша,

ищущая бессмертия, которое, по её поверью, должно было достаться ей после двенадцатого пожара. Дедушка Яков поймал её на том самом двенадцатом — и при народе толкнул в огонь. Там ей и конец. Или бессмертие — как посмотреть.

А дедушка Яков жил дальше. И были у него до самой старости все зубы целыми и белыми, а он их чистил хлебной корочкой. Помню его мундштук, который мне демонстрировал дед Андрей. Более чем полвека спустя он бил махорочным духом Якова. Я потерял его в детстве, когда учился курить.

А дедушка Яков был строг и добр. И его любили.

У него был сын Андрей Мочалов, дед деда, умерший в молодости. Служил он в какой-то коммерческой конторе, вроде как, в Нижнем. На фотографии он красив. По словам близких — умница.

Его сына звали Геннадий. Потом так и пошло — Андрей, Геннадий, Андрей, Геннадий… Андрей Геннадьевич — мой младший брат, а я выбился.

Первый Геннадий был мой прадед, и имя это было для многих ново.

Когда его бабушка вернулась в Очапное из Работкинской больницы, куда ездила проведать новорождённого, ей встретилась знакомая, и тут состоялся диалог, который потом передавали в семье через поколения:

— Родила сноха-то?

— Слава Богу!
— Внука, аль внучку?
— Внука!
— Здорова?
— Здорова.
— Как назвали-то?
И тут бабушка, не вспомнив чудного имени Геннадий, ответила:
— Ох, не пойму я эту молодёжь. Чудно как-то назвали: «Надо» ли, «Не надо» ли…

Вот такой разговор дошёл из позапрошлого века. «Надо ли, не надо ли — и весь Геннадий!» — говорили потом.

Бабушка Мочалова во всём видела суть. Это она, увидев самолёт, закричала: «Ой, батюшки! Чёрт летит!»
У меня есть старое дубовое коромысло. Дед Андрей говорил, что оно принадлежало той его прабабушке. А до этого — её бабушке. Сам он носил на нём воду с барского ключа. Крепкое коромысло. Ему лет двести.

У дедушки Андрея Яковлевича ещё была дочь Людмила, ставшая в замужестве Агафоновой. Её муж — дядя Митя — водил баржу, был капитаном на Волге и жил в затоне Калинина. Дед мой дружил с дядей, писал с него портрет и часто наведывался в гости. Дядя Митя скончался в почтенном

возрасте — я был тогда маленьким, но помню, что дед часто «заезжал в затон и видел дядю Митю» и сокрушался о его здоровье. Потом часто его вспоминал. Много лет спустя мне случилось работать тапёром на теплоходе, который совершал круиз от Нижнего до Астрахани и обратно. На том теплоходе был красивый капитан, лет восьмидесяти, который прекрасно играл на пианино. И был боцман Палыч. Классический боцман: крепкий, суровый в трезвости и разнузданный, когда выпьет. Водку он наливал стаканами. Так вот, они оба помнили того самого дядю Митю Агафонова. Его имя стало для меня своего рода пропуском в их круг — и мне тоже пришлось пить с боцманом стаканами водку. Но волжский воздух целебен, и я отделался лёгким похмельем.

О семье Магницких. Летающий лук. Сельская мистика.

Был у прапрадедушки Алексея (священника) брат Михаил и сестра Елизавета. Брат был военный, а сестра — Учительница. Пишу это слово с заглавной буквы намеренно. Я читал старинные письма, адресованные ей учениками. Там трепетное уважение. Взрослые уже люди спрашивают у бывшей учительницы советов, присылают свои фотокарточки. Есть письма более молодые — от подруг и однокурсниц. Многие — на французском. С юношескими клятвами о вечной дружбе, воспоминаниями и цитатами из Надсона, Анненского или Полонского… Письма, открытки, фотографии и прочие бумаги бережно сохранены. Спасибо тёте Лизе, которой я никогда не видел, за это.

Надеюсь, когда-нибудь дойдут руки разобрать эти письма. Вот ремонт закончим, достроим баню, всё запишем, разгребём, польём пальму, отменим границы, изведём собственное всеобщее невежество, отменим деньги, очистим планету от мусора, установим повсюду эстетическую диктатуру, мир в мире и так далее. Тогда, на старости лет, окружив себя послушной дворней и юными рабынями, приносящими чай в беседку, можно будет заняться разбором старинных писем.

А может, всё наоборот? Может, разбор старых писем и ведение родословных историй и есть один из кратчайших путей к достижению гармонического бытия? Особенно, если этим делом займётся большинство, вместо других, куда менее конструктивных занятий…

«Господи, хорошо-то как!» — говаривал один знакомый святой, прикрывая печаткой бритую голову и лучась взорами. И всегда был прав.

У священника Алексея с женой Алевтиной сыновей было пятеро, и звали их: Борис, Николай, Владимир, Сергей, Александр. И было три дочери — Фаина, Лидия, Мария. Семья, когда родилась бабуля Фая, жила в Лысково — уездном городке в 10 верстах от Очапного. На старых лысковских фото всё время фигурируют, кроме Магницких, какие-то родственники — Свешниковы и Горбачевичи. Лежит дома открытка, посланная кем-то из Нижнего в Лысково папе священника Алексея, Александру (тот тоже был священник). Там, бисерным почерком, описывается некая грустная свадьба, где знакомый батюшка попал в молотилку, вследствие чего стал калекой.

Дедушка Андрей говорил: «Пять сыновей священника — и все служили в Красной Армии! А до того были офицерами во время Первой мировой. Один из них стал писарем и

доверенным лицом того самого Маркина, что организовал Волжскую флотилию».

О Борисе (родился в 1882 году) знаю мало. Николай в войну был в германском плену — сохранилось его письмо оттуда, писанное им на обратной стороне своей фотокарточки. Он скончался в 1933-м. Владимир тоже был военный. Сергей жил и умер в Арзамасе.

В одном из последних телефонных разговоров со мной папа Гена рассказал о своём открытии: он нашёл фотографию с надписью, из которой выяснил, что у бабуси Фаи был ещё брат Саша, умерший в младенчестве. Мама его — Алевтина, видимо, скончалась сразу после его рождения, и сам ребёнок прожил совсем недолго.

Бабусина сестра тётя Лида всю жизнь прожила в живописном Татинце, замужем за дядей Федей Ротановым. Тот, говорят, был кэгэбышник. Его побаивались в те времена, но, возможно, именно ему обязана семья Магницких тем, что в тридцатые никого из них не арестовали — и даже дедушка Алексей, который и после революции носил серую рясу, умер своей смертью в татинском доме. В тот дом, к тёте Лиде, и ездила бабуся с внуком и детьми — моим папой, дедушкой с бабушкой — каждое лето. Там, в волжской роскоши, прошли детские папины лета.

Интересно вспоминала бабуся Фая про другую сестру — Марию, рано скончавшуюся. Та не дожила до шестнадцати.

С ней происходили загадочные вещи.

Бабуся Фая вспоминала, как однажды они с её мамой перебирали лук в сенях. «Мама стояла, нагнувшись к корзинке, а за её спиной была Маша. Вдруг откуда-то из угла полетели маме в спину луковицы, как будто кто-то невидимый их кидал. Перед этим мама с Машей о чем-то повздорили. Теперь Маша была неподвижна, а взбесившиеся луковицы летали сами собой, вызывая ужас и недоумение». Это запомнилось. За Машей вообще водились странности. Её сны сбывались. Она говорила наперёд невысказанные мысли собеседника. И это её беспокоило саму. Она не понимала, что с ней. Оно находило на неё и так же проходило.

Странный случай произошёл как-то раз, когда Фая, Лида с двумя двоюродными сестрами мылись в бане, а Маша, уже помывшись до этого с мамой, отдыхала в доме. Сёстры сидели в предбаннике и разговаривали, вдруг открылась дверь и на пороге показалась Маша. Она рассеянно глядела на сестёр и ничего не говорила. «Маша, что тебе?» — спросили у неё, но она не отвечала. «Что-то случилось?»… Но та, не отвечая, постояла некоторое время и ушла. Сёстры, недоумённо пожав плечами, вернулись к своему разговору.

Дома они спросили у Маши, зачем она возвращалась в баню.

— Когда возвращалась? — удивилась Маша.

— Да вот только что. Что-то забыла, наверное? — Но Маша объявила, что всё время была в доме. И родители под-

твердили, что она за всё это время никуда не отлучалась. Получалась мистика. Маша вдруг чего-то испугалась, заплакала и ушла. Через несколько дней она умерла.

Не правда ли, любопытно, что такие вещи легче наблюдать в деревне, а не в городе?

В тех местах, где все знакомы, подобные случаи легче отслеживаются. Необъяснимому находится место в больших семьях и укромных тихих поселениях, при спящем электричестве и бодрствующем сознании. Суета и излишек шума и света мешают видеть сокровенное, хотя оно всегда происходит… Для восполнения этого недостатка цивилизация придумала различные виды искусств. Если искусства не исполняют своего предназначения — распаковывать разными способами подспудное и загадочное настоящее, — то они и искусствами не являются. В деревне, ближе к природе, необходимость их не столь высока: там одушевлённость и одухотворённость неразрывны. Но человек, существующий в наших условиях, остро нуждается в этом — иначе его и живущим-то назвать трудно. Речь, конечно, не об искусствоведческих, эзотерических или религиозных суррогатах, блуждающих в терминологических лабиринтах несущественного. Речь о «несказанном».

Не моя мысль. Это мысль вообще. Из наших бесед с папой и дедом. Если уж я пишу о них здесь, то почему бы и не

вспомнить разговоров.

Благостная

Итак, бабуля Фая (бабуся, как звал её папа) поступила в Нижегородское епархиальное училище и закончила его с отличием. Что примечательно, в доме, где находилось когда-то до революции это училище, прошла часть моего детства. Почти в том самом — он в советское время стал Домом офицеров, а в тридцатые к нему прирос ещё один дом, выходящий фасадом на тогдашнюю улицу Свердлова (Б. Покровскую). Вот в этой, приросшей к Дому офицеров «сталинке» мы и жили — в огромной пятикомнатной квартире, выходившей окнами на «свердловку». А спустя ещё пятнадцать лет в этом самом Доме офицеров мы играли концерт в составе группы «Чертополох». Запомнилась «курилка» в уборной с большими подоконниками и вазой-пепельницей, лепнина и старинные дубовые двери с резьбой.

Остались прабабушкины фотографии времён её учебы в Епархиальном училище. А также два фото-панно с портретами учеников и преподавателей.

Фаина Алексеевна помнила обе революции. В 1917-м она работала телефонисткой в Лысково. Она рассказывала, как накануне, перед тем как стало известно о перевороте в Петрограде, поздно ночью был звонок с распоряжением передать в юнкерское училище приказ: всем юнкерам к опре-

делённому сроку явиться в училище на построение. Но не успела она этого сделать — опять позвонили, и уже другой строгий голос сказал: «Если вам дороги жизни людей — ни в коем случае приказа не передавать. Наоборот, пусть даже не высовываются». И звонивший попросил сохранить разговор в тайне. Фаина Алексеевна последовала предостережению. Вроде как, то был небезызвестный революционный начальник. Естественно, фамилию бабуся умалчивала и о разговоре не распространялась — он, предупреждая, рисковал сам. Дома она рассказала, что произошло нечто особенное в столице.

Потом Фаина Алексеевна работала учительницей в Очапном, пока там была школа, и в Татинце. Позже её перевели в соседнюю деревню Ташлыково. Конечно, старались жить и своим хозяйством, но в ту пору это уже было сложно. Например, на семью не полагалось больше одной коровы. «Лишних» уводил колхоз. Работа учительницей давала свои преимущества — у неё не отобрали паспорт, как у прикреплённых к колхозу крестьян, и она получала какую-то зарплату. Дед рассказывал, как на каком-то собрании в Татинце приехавший из города чиновник, известный в числе прочего своим волокитством за вдовой священника, высказался о бабушке Фае, что ей, дескать, доверять не стоит, так как она «дочь попа». (Тогда она занимала некую общественную должность.) На что та громко ответила: «Зато не волочусь за поповской вдовой», чем вызвала смех и одобрение присут-

ствующих.

Незадолго до того один старик из Очапного попал в тюрьму. Было собрание, на котором приезжие представители власти просвещали сельчан о новых советских порядках. Оратор рассказывал о коллективном хозяйстве. Поднял щекотливый вопрос собственности: «Теперь всё будет общее».

— Общее, это чьё ж, ваше или наше? — спросил дед. Оратор ответил:

— Общее, то есть всех!

А дед ему: — Дык всех — это значит ничьё!

За такую вольность (тогда для чапенских это было ещё в новинку) старику дали десять лет тюрьмы. Тот недоумевал, даже смеялся:

— Как же — десять? Мне уж восемьдесят!

И посадили. А он свой срок отсидел, вернулся и дальше ещё жил.

К молодой советской власти относились с недоверием. Партийных, считая приспособленцами, сторонились. Дедушка рассказывал, что в детстве они пели такие частушки:

Ленин мёртв, лежит в могиле,
Троцкий просится к нему.
Отвечает ему Ленин:
— Мне не скучно одному!

Или:
Я сегодня на деревне,
Братцы, Ленина видал —
Без порток, в одной рубашке,
«Пятилетку» догонял.

Что тут скажешь…

— «Господи, хорошо-то как!» — и перчатку на голову.

У дедушки было два брата: Витя — старший и младший — Коля. Витя был задумчивым, любил читать и хорошо рисовал. Коля был сорванцом. Андрюша, видимо, что-то между. Витя рано умер. Укололся ржавым гвоздём, копаясь на чердаке, где он любил уединяться и рисовать. И не обратил внимания на крошечную ранку на пальце. А потом, за столом во время еды, вдруг пожаловался: «Есть не могу, рот не шевелится». Нашли свободную лошадь и повезли мальчика в работкинскую больницу, что в десяти верстах.

Там поставили диагноз — столбняк. Нужны были уколы. Но лекарств не оказалось. Ждали, когда доставят, как долго — неизвестно. Витя страдал дома. Столбняк проходит мучительно: боль, судороги, сводит тело. Бабушка Фая обречённо-спокойно сказала: «Да уж, верно, не выживет». Врач приходил, но без лекарств сделать ничего не мог. Их привезли с

запозданием, когда Витя умер. Дед Андрей вспоминал, как пришёл, опираясь на палку, сразу одряхлевший прадедушка Яков (Каширин-Мочалов) и «страшно, безутешно плакал».

Когда мы жили на Покровке, в моей комнате стоял сундук бабули Фаи. В сундуке были разные любопытные вещи — письма, записки, древние монеты, георгиевские кресты и прочее. Среди всего были рисунки Вити. Как дедушка сказал, сделанные им уже во время болезни, когда ему трудно было двигаться. Талантливые рисунки, раскрашенные, за неимением кистей, пальцами, обмакнутыми вместо кисти в акварельную краску.

А древние монеты, что были в сундуке, когда-то пришли с неба «дождём». Про этот «дождь» рассказывали многие, а объясняли по-разному. Когда бабусе Фае было тринадцать лет, случился сильный ураган, который, видимо, поднял некий клад времён Стеньки Разина. С неба сыпались старинные монеты. Такие «монетные» дожди были замечены в нескольких деревнях на берегу Волги. Бабуся и собирала эти монеты. Несколько у нас до сих пор сохранились. Серебряные, из пятнадцатого века.

Всё детство я копался в этом сундуке. При переезде на другую квартиру его в числе других вещей, не поместившихся в грузовик, оставили в подвале. Я (в ту пору одиннадцатилетний мудрец) протестовал, торопил забрать оставшиеся вещи, и в первую голову — тот самый сундук и бабушкину

гитару. Так и не забрали. Дедушка Андрей, имея ключи от подвала, наведывался туда, что-то выносил. С тех пор прошли годы. Замки, конечно, сменили. Вещи потерялись. Содержимым того сундука было то немногое, что сохранилось после пожара, который когда-то, верно, ещё до войны, уничтожил мочаловский дом в Очапном, вместе со всем имуществом.

Жаль, что вещи так материальны.

Несмотря на горделивую внешность, Фаина Алексеевна отличалась спокойствием, удивительной отзывчивостью и терпимостью. Всё это без какой-либо демонстрации нравственного превосходства или показной жертвенности. Впрочем, робкой её тоже назвать было бы трудно. Очапновские старухи, которые её хорошо помнили, рассказывали, что прозвище у неё было — Благостная.

Когда родился мой папа, бабусю, к тому времени овдовевшую, уговорили переехать в город, чтобы сидеть с внуком. Но она поставила условие, что приедет не одна, а со своей старой няней. Эту няню, родившуюся в середине девятнадцатого века, звали Мария Гуськова. Она была одинока и однажды, в конце пятидесятых, бабуся получила письмо от бывшей няни, в котором та просила забрать её в Татинец, ссылаясь на болезнь и невозможность жить в чужих людях. Фактически, она возвращалась в Татинец умирать. Это

письмо сохранилось. Бабуся Фая привезла её в Татинец, поселила у себя дома и выходила. В результате и в город к детям она не могла приехать одна — некуда было девать старушку. И пришлось взять её с собой. Вскоре та скончалась. У нас лежат несколько её писем, какие-то справки на имя М. Гуськовой и дореволюционный молитвенник в зелёной бархатной обложке.

Однажды, в голодные военные времена, когда трудно было кормить семью, она поехала в Работки продавать булочки, которые испекла из каких-то остатков дома. На вырученные деньги надеялись купить необходимые продукты. И вот стоит она, держит поднос с булками, а рядом появляются двое пареньков с голодными глазами, безнадёжно спрашивают «сколько стоит», роются по карманам, отходят. Идти им, видимо, особенно некуда — уселись где-то поодаль. В итоге бабуся отдала им весь поднос с выпечкой, ни с чем вернулась домой, проделав путь в десять вёрст.

Когда эту историю вспоминали у нас в семье, то бабушка Желя говорила, что поступок сей не столь однозначен в своём альтруизме. Дескать, дома осталась голодная семья, и отдавать последнее — пусть симпатичным, но чужим людям — в некоторой степени безнравственно. Мол, она, бабуля Желя, так бы не сделала. Не знаю.

— А кто будет знать? — говорили мне в таких случаях, когда я был маленьким.

Сегодня мне сказали, что по закону больше нельзя пороть детей. Чего тогда вообще с ними делать? Получается, что мы последние счастливые представители битых поколений. Что же будет, что же будет…

Вот ещё одна характерная иллюстрация бабусиной невозмутимости. Дело было уже в Горьком, в городской квартире, когда дед Андрей с бабулей Желей работали в Художественном фонде. Дедушка славился рассеянностью. Звонит, скажем, по телефону, номер набрал, гудки идут, а дед разговорился с кем-то из домашних, забыл о том, что в руках трубка. Вдруг слышит в трубке — «Алло!» Пугается, вздрагивает и, голосом человека, чью речь невежливо прервали, возмущённо кричит в трубку: «Вам кого?!»

Так вот — бабуся пекла замечательные капустные пироги. Печь их — большое дело. Обряд. Несказанной красоты пироги, испечённые на противне, со щедрой начинкой. Такой пирог есть венец многообразных и загадочных действий, включающих длительный подготовительный процесс. Я, честно сказать, никогда и нигде таких пирогов больше не пробовал. Бабуся возилась два дня на кухне. Готовые произведения, вынутые из духовки, складывались на стул и накрывались полотенцами, чтобы сохранялось тепло. Может быть, был какой-нибудь праздник — потому что дед Андрей в тот день вернулся навеселе. На глазах бабуси Фаи и других присутствующих, дед, рассказывая что-то и заслушавшись

собственным рассказом, уселся на табуретку со свежими пирогами, ему стало тепло и мягко. Бабуся, что называется, бровью не повела. Дед Андрей продолжает рассказ, ёрзая на чём-то непривычно мягком и теплом, принимая вальяжные позы. Бабуся слушает и кивает. Наконец, дедушка что-то заподозрил под собой.

— Батюшки! А на чём это я сижу? — спросил он. Бабуся, как ни в чём не бывало: «На пирогах, Андрюша, на пирогах!»

К папе моему, в пору его молодости, приходила одна молодая особа, влюблённая в него. Она недвусмысленно добивалась его внимания и пылко и утомительно выражала свою любовь Так пришла она однажды к ним домой на Белинского, а папа заранее убежал в гости. Барышня зашла в квартиру и осталась ждать. Папы всё не было, невозмутимая бабуся Фая разливала чай, поливала цветы. Дед Андрей с бабушкой Анжеликой были в соседней комнате, не зная, куда деваться. Возникла неловкость. Гостья допытывалась, куда пропал Гена и когда он придёт. Намеревалась ждать. Вдруг бабуся говорит:

— Да и не придёт он сегодня.

— Почему? Где же он?

— В вытрезвителе.

Ей много писали, и она отвечала на письма. В послед-

нее время осталась одна подруга — единственная ровесница. Когда от неё перестали приходить письма, бабуля Фая грустно заметила: «Видно, и она умерла. Теперь из нашего круга жива лишь я…»

Помню ветхую бабусю Фаю, сидящую в кресле. На ней всегда серая шаль. Я пристаю к ней, чтобы она почитала мне сказку. Она встает, чтобы достать очки, которые лежат на серванте. Идти ей тяжело, она сутулится. И я подаю ей руку, потому что мне кажется, что так я её поддерживаю. Она болеет сердцем. Надорвалась, подняв толстого меня. Я этого не помню.

Потом она перестала вставать и лежала в задумчивости на диване.

— Как дела, мама? — спросил дедушка у неё однажды.

— Да всё хорошо, Андрюша. Только вот всё что-то не умирается, — отвечала она.

Кто не был знаком с ней близко, поначалу считали её строгой — из-за её внешности. Но потом это впечатление рассеивалось. Её орлиный нос унаследовали дети и внук. Я, увы, нет. Она никогда не заискивала, не пыталась нравиться. Умела слушать, не навязываясь. Ей была свойственна невероятная терпимость — но не мягкотелость. Папа Гена, вспоминая бабусю, иногда называл её просветлённой.

Бабуля Фая, при мне уже, любила послушать пластинку Анны Герман. Хорошая такая пластинка, с заглавной песней «Один лишь раз сады цветут». Вспоминала всё что-то под неё с непроницаемым видом.

Совсем недавно получил «привет». Искал в папиных ящиках загрузочный диск, чтобы переустановить систему на компьютере. И вдруг из стопки тетрадок выпал маленький листок с нарисованным ручкой человечком. Пригляделся — это вроде Пушкин изображён. Перевернул листок, а там записка. Даже две. Первая — записка от папы к бабусе в больницу, где та лежала после инфаркта. Там про продукты и про Очапное, где они только что купили дом, куда бабуся так уже и не съездила, про то, как они гуляют с мамой и мной по городу. Другая часть — ответ бабули Фаи из больницы. Про самочувствие, про то, что в Очапное надо теплее одеваться, что про дом надо рассказать Ротановым и прочее. Что ей не хватает своих часов, потому что медсёстрам не нравится, когда она часто спрашивает у них, который теперь час… И между прочим — привет Саше и «вот для него рисунок (он поймёт)».

Вообще, давайте писать записки ручкой и на бумаге, а то что от нас останется?

Спустя много лет, после того как бабуси не стало, когда

мы с мамой уже жили на улице Невзоровых, в жёлтом доме с берёзовым двориком, мама однажды разговорилась с девяностолетней соседкой. Та рассказала о себе, что работала учительницей, а сама родом из Лысково. Как оказалось, её учительницей была бабуля Фая. Старушка говорила про неё с восхищением, как о кумире своего детства, и призналась, что стала учителем из-за неё.

На фотографии конца прошлых тридцатых изображён двухэтажный дом дедушки Алексея Магницкого, а вокруг дома стоит человек тридцать пять. Среди них прапрадедушка Алексей, бабуся Фая держит на руках маленького Колю, а рядом шестилетний Андрюша и старший брат Витя. Многие мне неизвестны. Да и дедушка не всех помнил на этой фотографии. Он говорил, что каждое лето в дом съезжалось очень много гостей — родственников с семьями и друзьями. Все жили у прапрадедушки Алексея. Глядя на эти фотографии, складывается впечатление, что в те годы людей было много больше.

Очапновский Летун

Дедушка Андрей был умелый рассказчик. Без театральности, в своей естественной манере, используя какие-то особенные свои обороты, он как бы ненамеренно завладевал вниманием слушателя. Конечно, если у него было вдохновение. Одной из любимых нами дедушкиных историй была про пастуха Костю Хопа, или, как его ещё называли, Очапновского Летуна, который после смерти превратился в светящийся шар и летал с кладбища к себе домой. Эту историю дед рассказывал с позиции очевидца, впрочем, многие его ровесники из Очапного подтверждали, что тоже являлись свидетелями этих, произошедших в их юности, событий.

За разрушенной церковью, позади огородов, начинается крутой склон. Там, над откосом, находится естественная обзорная площадка, которая издавна была местом встреч, гуляний и созерцаний необычайного вида, оттуда открывающегося. Прогуливаться туда называлось «пойти на гору». На «горе» много очапновских поколений жгли костры, готовили уху, устраивали свидания. Там всегда стояла скамейка, а потом возвели целый стол. Вот там дедушка Андрей и рассказывал историю. А говорил он так:

«Был Костя Гаврилов, по прозвищу Хоп. Он был пастух, и, верно, выпить любил. Было это в сороковом году, перед

войной. Мне тогда исполнилось пятнадцать лет. Засушливое, жаркое лето. Незадолго до тех событий Костя Хоп занял у мамы трёшницу, на опохмел. В ту пору жили плохо, но у мамы бывали какие-то деньги, потому что она была учительницей. И всё же с трудом сводили концы с концами. Потом стало известно, что Костя Хоп удавился — с тоски как будто. Выпил в пастушьей избушке какое-то лекарство для лошадей, затосковал — и повесился. Осталась вдова, Татьяна.

Повезли тело в Работки на экспертизу и регистрировать. Погрузили на телегу. А поехал с ним местный коммунист и староста. Было жарко, ехать — десять километров. Через полчаса глядим — а староста обратно в деревню бежит, взъерошенный, перепуганный, бледный, в глазах ужас: «Там Костя Хоп кричит!». «Как кричит?» — спрашивают его. Он рассказывает: лежащий в телеге покойник кричит. Завопил, дескать, в дороге долгим, пронзительным, нечеловеческим криком. Возница в ужасе бросил телегу и пустился наутёк. Оказалось, что и другие этот жуткий, холодящий крик издалека слышали — и не понимали, что это. Собрались люди, дошли до телеги, кое-как доставили в Работки. По дороге ещё пару раз слышали, как вскрикивал покойник, но уже не так протяжно. Потом кто-то объяснял, что, дескать, усопший скончался удушьем, дыхательные пути замкнуло, а когда везли — его растрясло на жаре, и газы, выходя, привели в движение связки, получился страшный вопль.

Ну ладно. Похоронили. Мама ещё сказала тогда в своей

неподражаемой манере: «ну вот, и трёшница пропала». А вскоре поползли слухи, будто Костя Хоп летает.

— «Как летает?» — Мы смеялись, не верили. Тогда нас, молодёжи, много было. Гулять ходили «на гору» — место за церковью над оврагом. Церковь была ещё не разрушена, крыша цела со шпилем, а невдалеке находилась пожарная каланча, где дежурил старый дядя Петя Терешин.

Мы, по-моему, отдыхали после бани, когда мне вечером постучали в окно ребятишки: «Андрюша, пойдём смотреть, как Костя Хоп летает!». А я не больно-то верил. Но пошёл за компанию. И мы отправились на Гору. Весь день стояла изнуряющая жара, ночь пришла сухая и тёплая, с большущей красной луной. На Горе нас собралось довольно много, человек сорок, мальчишки-девчонки... Развели костёр. Все шутили, о чём-то смеялись, играли в игры — в общем, проводили обычный летний вечер — и вскоре забыли о «Летуне».

Я сидел спиной к откосу, что-то рассказывал. И вдруг те, кто напротив, испуганно вытаращились мне за спину, и я увидел, как их лица осветились красным, а позади услышал странный шум. «Что такое?» — думаю. Оглядываюсь — огромный красный огненный шар поднимается со стороны кладбищенского склона. В первый момент подумал — луна. Потом гляжу: а луна-то с другой стороны... А шар поднимается в воздух, да с рёвом! Мы перепугались, присели к земле, а он, оставляя за собой огненный след, приблизился к церк-

ви — в нескольких шагах от нас — и, превратившись в огненную мочалку, с жужжанием закружился вокруг колокольни, быстро-быстро. Шум, искры летят — даже жарко стало! Покружившись над колокольней, «мочалка» эта взвилась к пожарной каланче и покрутилась над ней, вокруг шпиля, с таким же раздирающим свистом. Затем, переместившись к Гаврилову дому, где жила вдова Кости, шар завис, затем с треском разорвался над крышей и рассыпался искрами.

Ну, думаем, сейчас пожар начнётся — сушь-то какая! Немного оправившись, те, кто посмелее, побежали в пожарную сторожку. Смотрим — дядя Петр дремлет, как ни в чём не бывало. Мы его разбудили. «Что такое?» — нас спрашивает. — «Чего по ночам снуете?». Мы ему наперебой возбуждённо рассказываем об увиденном и о том, что летун взорвался над Гавриловым домом. Надо бы, дескать, посмотреть, что там да как, пожара бы не случилось, или с Татьяной Гавриловой чего не произошло — она в доме одна. А идти страшно... Он выслушал нас очень спокойно и говорит: «Ну, пойду, проверю, что там». — Мы ему предложили хотя бы ружьё захватить, но он отмахнулся, пошёл, а мы не решились. Смотрим издали, как он подошёл к дому Гавриловых, некоторое время походил возле, потом открыл калитку, вошёл в огород и скрылся. Затаив дыхание, ждём. Через некоторое время возвращается: «Дома ничего, ничто не горит. А Танька как будто и вправду говорит с кем-то, голос её вроде. А она дома-то одна. Поговорит, помолчит, будто кто отвеча-

ет, а она слушает. О чём — не расслышал».

Вот так рассказывал дедушка Андрей. Соседка баба Валя, сверстница деду, которая тоже была при том, говорила, что, увидев «летуна», испугалась и убежала с другими девочками. Другая соседка по деревне в точности, как и дед, запомнила эти события. Я знал этих людей.

Вдова Кости Хопа, как говорил дед, стала после тех событий замкнута, ничего не рассказывала, исхудала и словно бы помутилась рассудком. В скором времени она уехала из Очапного, и о дальнейшей её судьбе ничего не известно.

Однажды, в детско-юношеском клубе, я «озвучивал» спектакль, который проходил в рамках вечера, посвящённого традиционной культуре и народным сказаниям. После спектакля детям показывали диафильм, где актёры на фотографиях разыгрывали сюжет, очень похожий на рассказ моего дедушки про очапновского Летуна: жена теряет мужа, муж летает к ней по ночам с погоста в виде огненного шара. Шар принимает образ мужа, который изводит супругу тем, что клянётся в любви и зовёт её с собой. В диафильме жена сходит с ума и умирает.

Что это — бродячий сюжет? Или это наша история, рассказанная кем-то, попала в сказку? Или такие вещи вообще имели место быть и случай Кости Хопа не единственный?

Одна знакомая — психолог — услышав эту историю от дедушки, нашла в ней подтверждение некой теории: мол, летуна не было, а люди в ту пору были суеверные, любили страшные истории и умели приукрасить. И вот, после того как у покойника вырвался вопль, ещё и на фоне того, что тот покончил с собой, вокруг Кости Хопа уже сгустился мистический ореол, что дало толчок к домыслам и развитию мифа, в который сами авторы согласны были верить. Однако дедушка не был склонен к мистификациям. А соседи его, пожилые и довольно приземлённые персоны, — и подавно. В конце концов, дед бы не стал сочинять из этических и суеверных соображений. Он рассказывал так, как рассказывают о виденном, без попытки приукрасить и доказать, но тщательно выбирая слова, как бы описывая живую натуру; с недоговорками…

У папы Гены было своё объяснение: «Дед наш в некоторой степени мистик, сам этого не осознающий. С ним происходили разные необъяснимости. Возможно, никакого „летуна“ и не было, а ребята просто решили над ним пошутить. А когда все, разговорившись, забыли об этом, дедовское подсознание вызвало, к общему ужасу, это явление». Мысль странная, но чего не бывает!

А если даже чего-то и не бывает, то почему бы ему не быть?..

«Давай Чарли!» - рыбы, мухи, пчёлы и собака.

Была школа в Работках. Там учился дед. Ходили пешком из Очапного — туда и обратно двадцать километров. Я и сам ходил той дорогой. Только теперь там шумное шоссе, а тогда на Большой дороге машины были в диковинку. Зимой, в валенках, с сухарями и учебниками, дети выходили ещё затемно, в темноте и возвращались. Шли компанией. С одеждой было туговато, зато хвалились друг перед другом новыми заплатками — у кого нарядней.

В Работках был клуб, в котором случались представления. В ту пору сиял Чаплин, и заезжие артисты часто изображали его. «Сегодня Чарли Чаплин в клубе!» — кричал кто-то, и тогда всё Очапное шагало на представление — «Давай Чарли!»

Увлекались фотографией. Первый фотоаппарат дед собрал сам — ящик с дыркой вместо объектива. Снимал друзей. Некоторые фото остались, а большинство, вместе со стеклянными негативами, сгорели при пожаре, уничтожившем когда-то мочаловский дом в Очапном. Есть снятая на тот фотоаппарат карточка, датированная сороковым годом, где трое подростков с остриженными круглыми голо-

вами стоят возле «астраханского» спуска. На обороте прабабушкина подпись: «Гаврилов Александр, 1925 г. р.; Муравьев Алексей 1922 г.р.; Мочалов Андрей 1925 г.р., будущие фронтовики. Все вернулись по ранению».

Дед говорил, глядя на неё: «Незадолго до войны мы с этими ребятами, набегавшись в поле, сели передохнуть на склоне возле погоста. Рядом чей-то старый холмик без примет. Было лето. Мы дурили, болтали, смешно философствовали... И тут Сашка Гаврилов похлопал по холму рукой и сказал: „А что ни говори, ребята, а этого холма нам не избежать“».

Теперь их холмы тоже рядом, и весной там цветёт сирень.

Этого кладбища боялся местный председатель — партработник и воинствующий атеист. Идя мимо, обходил погост подальше, особенно после сумерек. Это было замечено молодёжью, и они раз не удержались: надев на себя, как саваны, какие-то простыни, затаились в кладбищенской сирени. Когда начальник, с тайным суеверием озираясь, возвращался мимо вечернего кладбища домой, они с жуткими завываниями бросились за ним. Тот порядком струхнул и пустился наутёк, осеняясь на бегу крестным знамением. Так и вбежал в деревню, на глазах людей молясь и причитая. Правда, после этого общественный антирелигиозный задор его усилился, а мимо кладбища он ходить перестал и вовсе, предпочи-

тая путь более длинный — через болото.

Кладбищенский холм изменился в наши девяностые, когда кооперативщики арендовали очапновское озеро и развели по этому поводу кипучую деятельность: стали строить бессмысленные дамбы, на одну из которых ушла часть кладбища. Эта дамба, хоть и из костей, но никакой службы не служила и теперь обвалилась. Детям запрещали купаться в озере, боясь, что мы распугаем ранимую рыбу. Рыба, глядя на такое дело, ушла из озера неведомо куда. Ушли разорившиеся предприниматели. Озеро отдохнуло, восполнилось, и рыбы вернулись. Тогда пришло другое хозяйство. Те даже стреляли в нас солью, а для разведения рыб бросали в воду какой-то особый корм. Но рыбе он не понравился, и она снова пропала. Уехало и это хозяйство. И так много раз, пока военная часть, грохочущая неподалёку артиллерийскими снарядами, не объявила озеро своим, оставив часть его в пользование местным. От дамбы же осталась утлая обросшая насыпь, вокруг которой живут лягушки, которых дед называл «болотными соловьями» за их пристрастие к хоровому квакканью в весенне-летние вечера.

Был Петр Иваныч. Мужчина солидный, но прижимистый, и любил прихвастнуть. За это над ним посмеивались. И рассказывали про него анекдоты.

В лесу за Большой дорогой есть лес, называется Облако-

во. В том лесу рос старый дуб, в дупле которого жили дикие пчёлы, и туда ходили за диким мёдом. Ходили без всякого специального снаряжения, руководствуясь опытом и осторожностью; к пчёлам относились с пониманием, и те людей не трогали. Однажды Петр Иваныч тоже пошёл за мёдом. Но подготовился основательно. Он надел шляпу с марлей, закрывавшую лицо, облачился в плотный комбинезон, который бог весть где достал, надел рукавицы и гордо прошёл в этом облачении такой дорогой, чтобы соседи видели, как Петр Иваныч за мёдом идёт. Он объявил, что пчёл будет выкуривать дымом. Так никто никогда не делал, поэтому отнеслись к заявлению с сомнением — зачем же выкуривать?

Петр Иванович, облачённый в доспехи, проследовал дальше. И вдруг, спустя время, показывается бегущий обратно Петр Иванович, а за ним, как хвост кометы, растянутый на несколько метров, рой, преследующий его от самого Облакова. Он кричит, а над ним тучи освирепевших пчёл; он машет руками, помощи просит — а те за ним, не отстают. Забились они и под его маску, и под комбинезон, и там сообща казнят беззащитное петр-иванычево тело. Он только беспомощно бьёт руками по комбинезону и по маске, а рассерженные пчёлы под доспехами оттого ещё пуще свирепеют. Посмотрели на это дело изумлённые односельчане — бросились помогать, стаскивать облачение с Петра Иваныча. Спасли. Но раздуло его изрядно, и он недолго показывался из дому. На пчёл он с тех пор не покушался. Ещё бы: человек солидный,

а бегом четыре версты бежал, по пашне, в полном пчёл комбинезоне, да ещё и в жару. Не всякому дано.

У Петра Иваныча была собака. А у прапрапрадедушки отца Александра была окладистая борода, копна волос и внушительный церковнославянский бас. Ростом он был высок, и в рясе смотрелся исполином.

Собака Петра Иваныча, большая и злая, слыла грозой деревни. Хозяин держал её на цепи, и с этой цепи она свирепо лаяла на прохожих, а Петру Иванычу нравилось чувствовать себя повелителем страшного зверя. Однажды у Петра Иваныча случилось застолье по какому-то поводу. Среди гостей был и отец Александр. Закусывали, выпивали. И вот пришло время, когда опьяневший хозяин стал хвалиться собакой: дескать, какая она грозная и что, ежели он спустит её с цепи, всей деревне не поздоровится. Тогда отец Александр велел ему отвязать собаку. Только, мол, сначала он сам её должен раздразнить, а потом, дескать, с ней справится. Поспорили. Собравшиеся, конечно, отговаривали спорщиков, но только больше раззадорили. И вот отец Александр подошёл к конуре, встал перед ней на четвереньки, взъерошил бороду, начесал волосы вперёд так, что они скрыли лицо, а рясу расположил таким образом, что она придала его фигуре немыслимые очертания — и как заорёт во весь свой раскатистый голос нечеловеческим криком! Собака, такого невиданного преображения испугалась так, что, порвав железную цепь, с

жалобным визгом умчалась прочь. После этого хозяин искал её несколько дней, а когда она в конце концов вернулась, оказалось, что из собаки грозной она превратилась в трусливую.

Этой истории теперь больше ста лет. Она из позапрошлого века. А Петра Иваныча, отца Александра и случай этот и сейчас помнят. Мне это в лицах рассказывал дедушка, а дедушке — очевидцы.

А тётя Ариша вспоминала:

— Я про отца Александра вот что слышала: в Татинце на каком-то застолье батюшку спросили, какое блюдо он предпочтёт — то или это. Он ответил, басом и окая: «И того, и другого, и по полной тарелке!» Эта фраза потом разошлась. А однажды ему в стакан попала муха, и он сделал вид, что ничего не произошло, выпил муху, чтобы не осрамить хозяйку. В нём ценили равно чувство такта и чувство юмора.

Давно жил отец Александр, папа прапрадедушки Алексея, немногое о нём известно, но как иллюстративна может быть пара устных пересказов, дошедшая через время.

Чубыркины

Были Чубыркины. Вообще-то настоящая фамилия этой семьи — Харитоновы, но звали их все Чубыркиными. Дедушка Андрей ставил их в антипример нам с папой. «Чубыркины» из его уст значило примерно то же, что значат слова: шалопаи, пустобрёхи, недотепы или ротозеи — только с особенным смысловым оттенком.

«Чубыркины вы какие-то! Одно слово — Чубыркины!»

В общем-то, мне они даже чем-то нравятся. Дед говорил, что это была большая семья, в которой все славились склонностью к беспричинному вранью и розыгрышам; были ленивы, бесхозяйственны и не приспособлены к серьёзным вещам. Но дед отмечал, что были и талантливы: все знали толк в шутке, все играли на разных музыкальных инструментах, хорошо пели, сочиняли — словом, были люди нрава резвого и добросердечного. Дома было — шаром покати и крыша текла, зато всегда весело. Ярче всех был глава семейства — некто Костя, кажется. Могу ошибаться в имени, но пусть опять будет Костя.

Вот он однажды пришёл из соседней деревни Ташлыково, куда ходил за какой-то нуждой, и плачет. Его спрашивают, в чём дело. «Дед Миша умер в Ташлыкове» — говорит. Все удивляются, потому что деда Мишу накануне видели здоровёхоньким. Но всякое бывает. А Чубыркин скорбно расска-

зывает, что был здоровёхонький, но случился у деда Миши внезапный удар — и всё. Всё Ташлыково скорбит. Просили передать в Очапное. И как теперь быть с такой бедой… Дети, внуки — семеро по лавкам… Завтра хоронить будут — мол, собирайтесь.

Что делать, всё побросали дела, отправились родне сообщать. Кое-кто тут же и помянул. На следующее утро печальная делегация из Очапного отправилась в Ташлыково за пять вёрст, чтобы проводить деда Мишу в последний путь. Оделись в чёрное, взяли кутью, водку… Старухи молитвы на распев читают, мужики хмурятся… Подходят к Ташлыкову — там вроде всё как всегда, никакой скорби. Избы дымят, куры ходят, ребятишки рты раскрыли — глядят. Дед Миша сидит у своего дома и чинит сапог. Увидел похоронную делегацию со свечками и венками:

— Вот так здравствуйте! Что за притча! Не рехнулись ли часом всем селом?

Чапенские, оторопев, молчат. Одна баба нашлась:

— А тебя хоронить пришли! — Тот глаза и выпучил.

Объяснения чубыркинскому вранью так и не нашли, да и сам он объяснить не мог. Очевидно было, что ложь его невыгодна для самого сочинителя. Но на то они и Чубыркины, что лгали бескорыстно.

Врали без умысла, пели без фальши, сочиняли складно.

Однажды Костю Чубыркина за какую-то очередную про-

казу посадили в тюрьму. Выйдя на свободу, он ещё некоторое время где-то пропадал, а потом вернулся, и вернулся эффектно — в капитанской форме. Элегантно и с достоинством прошёл по деревне. Форма ему была к лицу, держался он в ней уверенно. Рассказал, что только полгода пробыл на исправительных работах, а остальное время посвятил службе. Что он ведь и раньше был флотским, только об этом мало кто знал; а теперь вот, дослужившись до капитана, решил навестить родные места. Он даже привёз в качестве подарков несколько грампластинок и угощал мужиков хорошими папиросами, а девок — трюфелями. Но вскоре его капитанство тоже оказалось мифом, а где его носило и как он достал форму — так и не выяснили. Остались граммофонные дореволюционные пластинки. Они лежали у нас на чердаке. Две из них, по словам деда, — чубыркинские, с песнями Вари Паниной.

Граммофон у деда в детстве имелся. Была и семиструнная гитара. На ней его учил играть дядя Митя и дедушка — отец Алексей. А дед учил меня. Граммофонную трубу они выставляли в окно, чтобы слушала улица, и ставили романсы. А улица слушала и пахла сеном.

Был и сеновал. При мне владела тем сеновалом столетняя тётя Нюра. Она угощала маленького меня козьим молоком. Сеновал был в виде сарая с треугольной крышей и стоял он у дороги на озеро. По словам деда, сеновал этот был всегда. Их с друзьями оттуда гонял прежний хозяин, когда они пря-

тались там в детстве. На этом сеновале укрывались влюблённые. Их донимали дети и выслеживали старики. Несмотря на это, там была произведена едва ли не большая половина очапновцев. Плохо следили. Когда не стало тёти Нюры, сеновал покосился. Но, подбоченившись, ещё стоял, позируя художникам. Потом в один год не стало постаревших детей тёти Нюры и их собаки — вечного лохматого Дружка. Тогда уж рухнул и сеновал. Всему своё время, как говорится.

А всё-таки — где же Чубыркин тогда раздобыл капитанскую форму?

В Татинец!

«Татинец. Мыс на фоне волжского разлива» — этот сюжет дед часто переписывал в разных вариациях, так как многие просили у него такой этюд. Ослепительно живописный Татинец действительно вдохновлял не одно поколение дедовских предков. И нас тоже.

От Очапного до Татинца пешком теперь не ходят, и прямые пути заросли. Но я иногда прогуливаюсь бывшими дорогами, продираясь сквозь заросли и ковыляя по вспаханному полю. Путь этот разнообразен, оттого интересен. Кроме того, для меня это своеобразный ритуал, связанный с детством, когда мы ходили в Татинец с дедом, папой или другими старшими родственниками. Не сходить (именно сходить, а не съездить!) в Татинец — потерять лето. Во время таких прогулок можно было услышать много интересного, ибо в дороге люди меняются и начинают рассказывать по-другому.

Мы гуляли туда и со сверстниками — в детстве для нас это было что-то вроде волшебного таинственного путешествия. Разок нас даже крепко побила в Татинце местная шпана.

У папы Гены такие прогулки были любимым делом — и здесь мы сходились. Вот занятие! Ходишь и беседуешь, и шутишь, и устанешь. В Татинце встречались многочисленные папины знакомые и родственники, приглашали к се-

бе, кормили ухой, поили чаем. Папа Гена делался моложе и озорнее, рассказывал: тут они в юности падали с мотоцикла; тут видели домового; тут прыгали с обрыва; тут прятали клад; а сюда, на «Ендову», ходили за ягодами. Вот вечно молодая сосна, которая ничуть не подросла с его детства; а здесь живёт всегда раскатистое эхо — и мы кричим, пробуя эхо; и рассказывается бородатый анекдот про туриста и эхо — и этот анекдот я, храня традицию, рассказываю каждый раз своим спутникам, проходя здесь.

Около старенького, с завалившимся крыльцом, дома, в котором всякое лето жило папино детство, с папиных слов я видел папу Гену подростком; когда в Татинец из Горького приехал (приплыл на ракете по ослепительной Волге) молодой ещё дедушка Андрей. Он привёз в подарок сыну новые ботинки, взамен изношенным. Но Гена их надевать не стал, он любил свои старые вельветовые хипповые кеды. Пока Гена спал, отец решил их выкрасть и выкинуть, но Гена заметил, нагнал отца прямо перед домом. Вот он вырывает ботинок из рук деда Андрея, но тот изловчился, размахнулся, надеясь кинуть ботинок так, чтобы тот улетел в Волгу, однако ж, занятый борьбой с сыном, промазал и кинул ботинок в открытое окно дома.

В доме спит дядя Федя, которого принято бояться. Он вредный и мнительный, и здесь, объединённые общей виной и страхом надвигающейся грозы, отец и сын, съёжившись, крадутся к окну и, заглянув в дом, видят (и я тоже вижу)

мирно спящего дядю Федю и ботинок — лежащий на его груди. Они осторожно заходят в дом, чтобы освободить дядю от ботинка. Обоим смешно, и они приходят к компромиссу.

Он рассказывал, как однажды в этом доме он наяву вышел из своего тела, вылетел в окно, оглянулся и увидел со стороны себя спящим. Поплавал налегке по местным закоулкам, попарил над Волгой и вернулся отдохнувшим. А перед этим у него будто бы обострилось обоняние, и слышался ему запах озона, как перед дождём.

Беседуя, спускались к Волге, ходили по берегу вдоль важных валунов. Он любил воду и всё время куда-то уплывал. Его сложно было утащить с пляжа, уж очень был солнцелюбив, подолгу лежал, медитируя, наблюдал ощущения, то, как ползают букашки по коже. Я был человеком в футляре, а папа Гена советовал отрешиться от мыслей; говорил, что я излишне суечусь умом.

«Закрой глаза, отрешись от земного».

Закрываю, лежу, ловлю Дао, но ёрзаю на неудобной траве. Кошусь на него — красиво лежит, не шелохнется. Весь умиротворение, в зубах травинка, профиль ладный, бронзовый, как с барельефа. Смотрит с закрытыми глазами в синее небо. Я тоже так хочу, смотрю. Плывут облака…

«Правда, вот то облако похоже на череп?»

У него приступ смеха. До слёз.

«Отключился. От земного. Называется» — долго не может успокоиться. Смеемся оба.

И Волга, и рыбий дух, и красный с белыми полосами обрыв, и лодки, и исполинские валуны. И ноги устали, и пахнет травами, и вечереет, доносится дым — печи ли топят, бани ли… Петушиный крик из деревни, гудок баржи с реки, опалённые плечи начинает щипать, тени удлиняются. Мы играем в игру — назови музыкальную группу. Так, чтобы на последнюю букву одной приходилась первая буква следующей. Как в «города». Когда группы заканчиваются, переходим на исполнителей. Или рассуждаем о неуловимости Несказанного и забавных выходках нашего деда… У пристани рыбаки привязывают лодки. Тогда ещё была пристань, и к ней приставали ракеты и метеоры.

Потом возвращались обратно, лесом и полем, рассекая золотистые волны овса, в сумерках, усталые. По дороге пели какого-нибудь Пола Маккартни. Входим в Очапное как два братца — ноги ободраны травой, руки чешутся от крапивы, но морды радостные. Дедушка Андрей уже картошки с грибами нажарил и чай заварил со смородиновым листом.

«В Татинец, что ли, ходили? Ну, я так и подумал. Сейчас дороги-то все заросли. Не видели, там берёза „с гвоздями“ стоит ещё?»

Дед любил гулять в Татинец один.

В один из наших с папой походов в Татинец я решил сфо-

тографироваться на стогу. У папы был тогда фотоаппарат, так называемая «мыльница». Стог был большой, с двухэтажный дом. Сделав пару кадров, папа стал уговаривать меня съехать со стога, чтобы снять и это. Я отказывался, потому что было высоко, а он смеялся надо мной, говоря, что он в детстве всегда катался со стогов и ничего страшного в этом нет. Однако он не учёл того, что раньше, сложенные по прежней технологии, стога были несколько иные — более покатые. Но я почувствовал себя уязвлённым и согласился съехать вниз, чтобы не показать себя трусом. Сохранилась фотография, снятая за миг до падения, где я с искажённым лицом лечу со стога вниз, уже предвкушая удар оземь… От долгой жары земля была твёрдой, и я с размаху ударился нижней частью спины. Было очень больно, и я долго не мог встать на ноги. Папа почувствовал себя виноватым. Он не понимал, как так случилось, что я ударился. Снизу солома казалась покатой. Однако ж, из странного чувства солидарности он тоже решил повторить мой прыжок. Это решение, лишённое здравого смысла, мы потом долго пытались объяснить себе. Когда он съехал вниз, что-то хрустнуло в его ступне. Нога сразу распухла… Почему-то мы решили продолжить путь в Татинец. Но уже на полдороге поняли, что не дойдём. Я не мог наклоняться и, тем более, сесть. Папа, напротив, часто садился, чтобы отдохнуть, но потом не мог встать… Кое-как, стеная от боли, мы доковыляли до Очапного. Там оба свалились. Дедушка переполошено суетился

вокруг и причитал — «вот наказанье-то а… Вот ведь беда» — чем вносил ещё больше суматохи. В конце концов, кто-то из соседей взялся довести папу до города. Там он два месяца просидел с гипсом. А я пролежал в деревне около недели, но вскоре поправился.

Вот ещё эпизод. Мне уже девятнадцать. Мы с папой в Очапном, собираемся уезжать. Он предложил прогуляться в Татинец, чтобы там зайти в гости к родственникам и после уехать в город на ракете по Волге. Так и сделали. Был божественный август. В дороге мы любовались наступающей солнечной осенью и в Татинец пришли в превосходном расположении духа. Папина родня оказалась дома. Нас угощали ухой и какими-то настойками, которые папа всё перепробовал. Дядя Слава — поджарый и коричневый от загара волгарь — сказал нам, когда уходит последняя ракета до Нижнего. Он посоветовал сэкономить и купить билет только до затона. В это время дальше билетов уже никто не проверял, по его словам.

Мы последовали совету. Помню, мы стояли на палубе, наслаждались скоростью и свистом ветра, подставляя себя брызгам и любовались проносящимися волжскими пейзажами — особенно красивыми в закатное время. Рядом расположилась обаятельная компания богемного вида девушек — и мы оба приосанивались. Папа был стройным и загорелым, солнце шло ему, а длинные, распущенные после купания во-

лосы придавали романтичности образу. Со мной была гитара в матерчатом чехле. Мы были похожи на двух братьев, и барышни, казалось, взирали на нас благосклонно… Но вот ракета пристает к затону. И тут, к нашему ужасу, капитан начинает вычислять, где же те самые пассажиры, которые должны здесь выходить. Оказалось, что ракета заехала в затон только потому, что кто-то купил туда билеты — а это были именно мы. Иначе ракета прошла бы дальше. Случился позор. Персонал судна кричал на нас с папой и отклонил нашу попытку заплатить им, чтобы поехать всё-таки в город. Почему-то они решили, что мы какие-то опасные хулиганы и нас нельзя оставлять на судне. Наверное, у них была информация о какой-нибудь шайке, орудующей на пристанях… Девушки, наши соседки, встали на нашу сторону и, думая, что у нас нет денег, пытались заплатить за нас, отчего было ещё стыднее. В конце концов нас вытолкнули на трап, когда началось самое странное — на пристань нас отказывалась впускать охрана, которая тоже, видимо, видела в нас хулиганов. «И что мы будем с ними делать?! Ведь до города уже ничего не идёт. Они нам тут не нужны!» Так глупо я ещё себя не чувствовал: стоя на шатком трапе, когда тебя с одной стороны толкают в спину, а с другой не пускают. Разозлившись, я просто протаранил дорогу на пристань гитарой. Гитара в чехле особенно пугала наших гонителей. Возможно, они думали, что в чехле пулемёт… Ракета тут же ушла, а начальник пристани опасливо отскочил от нас в сторону, а когда мы вышли с приста-

ни, с лязгом запер за нами железную дверь. Смеркалось.

Мы с папой вдвоём в незнакомом посёлке. Транспорт до города, как нам объяснил через дверь нелюбезный начальник пристани, пойдёт только утром. Он нас спросил ещё:

— А зачем вас с ракеты-то ссадили?

Мы стыдливо стали объяснять, как купили билеты до затона… Но он не поверил:

— Ну врите-врите… За такое не высаживают! Давайте-ка отсель…

Посёлок, в котором мы оказались, был пуст. Вечером люди из него уезжали на последнем транспорте. Помню, что, стараясь не падать духом, я собирал упавшие красные яблоки и рассказывал папе о недавно открытых мною преимуществах автостопа. Где-то вдалеке раздавался стук молотка. Мы пошли на звук. Некая семья, задержавшаяся здесь из-за затянувшегося строительного дня, торопилась в город. Стоило немалых усилий, чтобы уговорить взять нас с собой. Они недоумевали, кто мы такие и что натворили, если нас сначала высадили с ракеты, а потом и выгнали с пристани. Мы тоже не могли объяснить толково, ибо это было действительно трудно. В конце концов, опасливо покачивая головой, пожилая дама позволила нам втиснуться на заднее сиденье. В дороге она несколько раз спросила, точно ли мы не бандиты.

— Такие на вид безобидные и симпатичные два брата… Больше не хулиганьте! — сказала она на прощанье, высадив

нас на Маяковке. Только услышав про «братьев», папа Гена заметно повеселел…

В этих прогулках мы ближе сходились, превращались почти в ровесников.

Рядом с Татинцем раньше был хутор. Теперь о нём вспоминают одичавшие яблони, растущие на склоне Жареного бугра. В детстве мы собирали с них медовые яблоки. Чтобы попасть с нашей стороны на Жареный бугор, нужно пересечь буреломный овраг, по дну которого бежит заколдованный ручей. Ориентироваться нужно на большую, полусухую ветлу (правда, этот способ ориентировки давно не работает, но традиция осталась). У ручья живёт большой коршун. Он поднимает шум, когда я пробираюсь этим местом, а потом летает высоко кругами. Воду из ручья можно пить, летом это не всегда просто — отвлекают комары, живущие в низине. Когда поднимаешься из оврага к яблоневому склону Жареного бугра, становится заметно, что ты на татинской земле. Там всё другое — даже небо. И вот мускулистая Горелая сосна, место для привала после трудного перехода. Потом начнутся красные суглинистые дороги, спуски и подъёмы, крутые откосы и полосатые ущелья, огромные валуны на берегу. Весь Татинец — это холмы и низины. Считается, что название произошло от слова «тать»; там долгое время злодействовали волжские разбойники, и купеческие суда опасались этого места. В Татинце река просматривается очень далеко.

Татинскую церковь, видную отовсюду, я помню полуразрушенной — и тогда, если честно признаться, она мне как-то больше нравилась. В ней была некая таинственная одухотворённость, которая после реставрации спряталась под новой штукатуркой… Где-то возле неё захоронен прапрадедушка Алексей Магницкий. Редко приходится видеть, чтобы архитектура была так созвучна местности — силуэт её на фоне Волги смотрится и призывно, и утвердительно.

Даже теперь, изнасилованный дачным дизайном, Татинец остается красивым. Несмотря на то, что склоны испещрены чуждыми постройками, неуместными, как жалюзи в крестьянской избе. Хамоватые заборы, разделяя целое на фрагменты, навязывают виду безобразную геометрию, узаконивая безвкусицу собственничества. Волшебство спряталось, но местами сохранилось.

В общем-то, даже неплохо, что дороги заросли. Где-то там — берёза с гвоздями, которую в пятидесятые дед вписал в картину. В лесу, который носит название Сечи. В Сечах водится кабан, которого принято опасаться. На заросшей дороге скрылся и насыпной мостик через ручей, где папа Гена написал своё первое стихотворение:

«И мостик был, и я там был,
И я там бабочек ловил».

Я иногда ищу этот мостик, показанный мне дедом, и не могу найти. Дорожка, как заколдованная, всегда выводит обратно. Стало быть, так и нужно, что он там и остался, в том

лесу. И там, около него, летают бабочки — белые и жёлтые.

«Шик-Блеск...!» - композитор Касьянов и другие

Ниже Очапного и вверх по реке Китмар расположилось Малое Лебедево. Оттуда видна очапновская церковь, бывшая в прошлом приходской для нескольких деревень: Малого и Большого Лебедева, Чернышихи, Ташлыкова и сгоревшего Коскова. (Их жителей крестили в Очапном, туда же ходили на церковные службы.) Если идти в Малое Лебедево между рекой и Лисьями — минуешь Выползово — плоское место с холодным озерцом, а потом и Жерновки. Жерновками называлось грибное место, где лес почти доходит до Китмар-реки. Тут раньше устраивали гуляния, одно из которых даже есть на старом фото 1880-х, на котором можно узнать молодого прапрадедушку Алексея в подряснике, нарядных людей, позирующих среди деревьев. Рядом располагалась водяная мельница, а теперь растут раскидистые ветлы. Мельница эта иногда видна ночью, хотя брёвна её и она сама давно сгнили.

Малое Лебедево принадлежало помещикам Касьяновым. Наши семьи издавна, на протяжении более полутора веков, связаны удивительной, переходящей в родство, дружбой, вспыхивающей в разных поколениях. Александр Егоро-

вич Касьянов, выходец из простой семьи, за личные заслуги получивший потомственное дворянство и титул действительного статского советника, должность царского лесничего, был заместителем министра земледелия при царском, временном, а потом и ленинском правительствах. Очевидно, был прекрасным специалистом. В 1918-м году, вместе с красным правительством, А. Е. оказывается в Москве и работает там. Но, видимо, вследствие голода и волнений здоровье его пошатнулось, ему разрешили выйти в отставку и уехать в родное имение в Малом Лебедеве, которое осталось за их семьёй. Там Александр Егорович и скончался. Похоронен он был возле очапновской церкви — той самой... Могила, конечно, не сохранилась, но место её расположения дедушка мне показал. Отпевал Александра Егоровича прапрадедушка Алексей, который был духовником семьи Касьяновых.

Были у Александра Егоровича сыновья – Василий, Юрий, Сергей и Александр, и дочь Мария. Первые трое стали военными. Василий, герой Первой мировой, вместе с Юрием участвовал в Ярославском восстании, после разгрома оба попали в ЧК, но чудом спаслись. Рассказывают, что их семье каким-то образом помогла всё та же Бабуся Фая. Василий упоминается в дневнике одной из великих княжон. Есть даже семейная легенда про Василия: когда в Первую мировую он был ранен и попал в госпиталь, где великие княжны слу-

жили сёстрами милосердия, он подружился с одной из них, кажется, Ольгой. В семье даже говорили, что они были влюблены друг в друга. Василий хорошо играл на скрипке, княжны слушали его в госпитале. Рассказывали о книге, подаренной Василию княжной, с дарственной подписью. К сожалению, она не сохранилась – опасались преследований и то ли спрятали, то ли вовсе избавились от неё. Папа мой её видел. Василий был расстрелян в 1929-м году. Говорят, он по неосторожности и в силу характера не скрывал от ЧК своей дружбы с цесаревной. Ещё Василий, точнее рассказ Василия Александровича о чекистских пытках, упомянут Солженицыным в его «Красном Колесе». Мне многое рассказывала тётя Ариша Касьянова.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.